

Владимир Гиппиус. Грех. Повесть

Публикация Вяч. Быстрова (ИРЛИ РАН)

«Грех» – одно из неизданных ранних произведений Вл. Гиппиуса, над которым он работал в середине 1890-х годов. Автор, вероятно, сомневался в определении жанра этой вещи: в рукописи она поначалу обозначена как повесть, но затем этот подзаголовок был зачеркнут. Беловой автограф с правкой хранится: ИРЛИ. Ф. 77 (архив Вл. В. Гиппиуса), ед. хр. 138, 29 лл. Текст написан фиолетовыми чернилами. На бумажной обложке (л. 1) записаны карандашом заглавия: «Грех» [«Ленивое горе»] [повесть]; ниже фиолетовыми чернилами: [Шура].¹ В центре страницы справа зачеркнутый эпиграф: «[Знай, что ты посреди сетей идешь. / премудрость Иисуса Сирахова]». Он восходит к неканонической библейской «Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова»; ср. в синодальном переводе: «Знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь» (гл. 9, стих 18); ср. также в том же контексте: «Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее» (гл. 9, стих 3). Еще ниже справа – посвящение: «Посвящается Николаю Николаевичу Майеру»². Внизу страницы подпись и дата: «Владимир Гиппиус. 1896 г<од>». Дата под текстом: «Ноябрь 1896 г.».

Сохранился не имеющий заглавия беловой автограф с правкой, являющий собой первоначальный текст VI-й и VII-й главки «Греха». Дата создания: «1894–1895 г. 28 сентября». Хранится: ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 127 (далее сокращенно – Фрагменты VI–VII).³ В ранней версии имя героя не Шура, а Вася. Первоначальная редакция данного фрагмента отличается от основной множеством стилистических разночтений. Ср., например: «Над столицей сырое и темное утро. Туман, пронизывающий, острый, чуется, расплетаясь,

¹ Ниже одно слово в скобках густо зачеркнуто.

² О нем см.: с. 144 наст. изд.

³ Текст с вариантами опубликован: Проза Владимира Гиппиуса 1890-х гг. / Пре-дискл. и публ. В. Н. Быстрова // Писатели символистского круга. Новые материалы. СПб., 2003. С. 30, 32–38.

делается всё гуще и гуще» (Фрагменты VI–VII); «Над городом утро. Туман, тепловатый и темный, чувствуется, расплетаясь, делается всё гуще и гуще» (Грех); «Открывают ставни магазинов. Колеса стучат резко и отчетливо по холодной мостовой, серой и вылизанной. Возы тянутся длинными цепями» (Фрагменты VI–VII); «Открывают ставни магазинов, и возы тянутся длинной, медленной вереницей по холодной мостовой, серой и словно вылизанной...» (Грех); «...платье обтягивает ее несколько полную и довольно грациозную фигурку двадцатилетней девушки. Личико – недурненькое, вдумчивое» (Фрагменты VI–VII); «...платье обтягивает ее несколько полный, но изящный стан. Ее округлое лицо, окаймленное белокурыми волосами, вдумчиво, и эта вдумчивость в губах...» (Грех) и мн. др.

В архиве Вл. Гиппиуса сохранился также черновой автограф VIII-й и IX главки с обильной, в основном синхронной, правкой (далее – Фрагменты VIII–IX).¹ Заглавие этой рукописи: «Вечер». Подзаголовок: «Из “Ленивого горя”». ² Дата под текстом: «15 I 1896 г<од>». Верхний слой правки имеет целый ряд отличий от основного текста. Ср., например: в первом абзаце в описании комнаты Шуры на стене нет картины с изображением великомученицы Варвары; отсутствует второй абзац: «И так покойно и легко было здесь предаваться отдохновенно лени, ни о чем не думая, может быть даже не мечтая» (Грех); «...голова моцартовского, но более вульгарного типа...» (Грех) – «...голова моцартовского, но более буржуазного типа» (Фрагменты VIII–IX, л. 3 об.); «...как больной утирает грязными руками лицо, покрытое сыпью...» (Грех) – «...как рана сочится или <больной> утирает грязными руками и чешет грудь, которая покрыта сыпью...» (Фрагмент VIII–IX, л. 6 об.); «...взял в это время нежную, словно весеннюю трель...» (Грех) – «...взял в это время нежную трогательную трель, напоминающую детскую песню...» (Фрагмент VIII–IX, л. 6 об.); «...утешений – каких-то тоже светлых и далеких...» (Грех) – «...вольных речей, вольных и пустынных...» (Фрагмент VIII–IX, л. 7 об.) и мн. др.

В тексте ощутимы усилия автора освоить темы, образы, приемы и стилистику прозы «декаданса». Немало внимания уделено восприятию героем «света» и «тьмы», прихотливой игры «теней». Неслучайна помета перед текстом предшествующих Фрагментов

¹ ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 128, л. 1–16 об.

² Подразумевается первоначальное название «Греха».

VI–VII рукой неизвестного лица: «Хорошо, но испорчено декадентством; испорчены: очень – язык, и сильно – композиция».¹ В качестве наглядной иллюстрации стиля приведем смутную, импрессионистскую картину хмурого осеннего утра: «Ночь ушла – только слышно, как шелестнули ее влажные лохмотья; ночь ушла – тени качнули руками, поднялись и плачут. <...> И дождь пошел, и пошел он не сильными ударами, не крупными слезами, пошел незаметный, сочащийся, и таял, как осенний снег. Ночь ушла – ее провожали холодные звуки – откуда шли они? – день выносили старые тени, и дым поднимался ему навстречу...»

Однако, помимо стиля, в рассказе также – целый букет «цветов зла»: грехов романтически настроенного студента Шуры (прозрачные намеки на разврат, гомосексуальные связи, по сути, соращение им шестнадцатилетней девочки,² губительное увлечение опиумом³ и пр.). Шура, преодолевая себя, борется с постыдной болезнью, душевным и духовным оскудением. Он, как и его друзья, ощущает отчужденность от мира и людей. Его миражное существование между жизнью и смертью проходит словно в тумане.

Некоторые мотивы и настроения произведения подспудно перекликаются с ранними стихами Вл. Гиппиуса, написанными в тот же период; ср., например: «Приди, бледная, любимая весна, // Приди, тихое золотое утро, // Освежи мою утомленную голову, // Освежи мои поздние сны» (7 ноября 1896); «Зажги светильник свой прощальный, // Введи в томительную тьму – // О, дух далекий, дух начальный, // Приблизь к началу своему. // Привет мятежному паденью // И гласу волн во мраке снов. // Увы! проклятье – пробужденье // И блеску нежных облаков. // Подъят светильник твой прощальный – Иду в томительную тьму – // Дух беспечальный – дух начальный, // О, смерть, к началу твоему!» (12 декабря 1896).⁴

Публикуется по тексту белого автографа ИРЛИ (без учета вариантов), с исправлением пунктуации, явных опечаток и ошибок.

¹ Проза Владимира Гиппиуса 1890-х гг. С. 30.

² Примечательно, что в Фрагментах VI–VII героине Ксении двадцать лет.

³ Ср., в частности, описание одного из друзей Шуры: «Глаза Любимова всё гасли и гасли. Перед широкими зрачками расстилась широкая холодная мгла, и смуглое лицо начинало желтеть. <...> Любимов начал говорить сухие, отрывочные слова, – не то грезу, не то действительность, – он неприятно сжимался, наклонял голову, его глаза смыкались, из-под ресниц просачивались слезы...» (С. 157–158 наст. изд.).

⁴ ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 42, л. 10 об., 19.

Владимир Гитиус

ГРЕХ

Посвящается Николаю Николаевичу Майеру

I

Целый день что-то нарастало в груди, в голове, во всем теле, медленно, незаметно, но упорно, и ясно было, что не очень далеко, но смутно для памяти – было какое-то раздражение, – возникшее ночью, во сне, раздражение, которое обострялось и само по себе, и от каждого веянья внешнего... и было больно, но хотелось нести смиренье покорно, и только плакать, плакать без конца.

Началось, очевидно, ночью, и ночь была гнетущая... Сон кончился и забылся, но не прошел без следов. Этот неизвестный сон затуманил на утре глаза, заволакивал душу, – и утро, стлавшееся широкой плывучей белью за окном, плакало без слез.

Шура судорожно поднялся с постели. Зимний холод комнаты охватил его, темный свет – охватил горечью сердце, – он снова спрятался под одеяло. Смутные мысли пробежали, и ушли – вот опять уснет, но поднялось воспоминание, и в воображении – длинный ряд университетских комнат, темноватых, душных, сдержанный гул голосов, для чего-то знакомые лица, томительный час слов, ненужных и пустых, и темноватых, как комната... опять гул голосов, опять лица, улыбки... и опять темная комната, и опять томительные часы...

Он решил не идти в университет и хотел заснуть, но сон прошел.

Да, занятия, лекции его только утомляли, заставляли думать о том, о чем не хотелось думать, он видел, что некоторые из товарищей любовно относятся к делу, и он не видел в таком отношении живого, казалось, их толкает слепая сила... и казалось ему всякое дело и тупо, и ненужно, сам он не познал отчего, и не знал, что же нужно?

Когда он в прошлом году окончил курс в гимназии, он оглянулся еще раз и окончательно убедился, что у него нет призвания, это сознание не причиняло ему ни огорчений, ни размышления: и не было в душе ни пустоты, ни скуки, и даже мало думалось об этом. Когда пришлось держать экзамены, он сел и выучил четыре книжки «о праве», сухо, холодно, с не оставлявшим во всё время желанием:

«скорей бы! скорей бы!» – и порой мучительно напрягался и уходил весь в длинный ряд суровых уставов, в длинные ряды экономических соображений, и хотел видеть душу, – но ничто не говорило воображению, и было скучно, и хотелось покончить... другая область, другой факультет... Но для другой области необходимо призвание... И он, думая об этом, улыбался какой-то горделивой улыбкой и смиренно нес обязанности.

Да и мог ли он иметь призвание?

Дни текли, словно бы часы остановились, и перестала происходить смена дня и ночи. Года три тому назад и дни бежали, и сон освежал, и порыв рождался в душе. Тогда еще это горе, которое он носил во всем своем теле, не утомляло, но возбуждало и повышало дух и одевало мир в какой-то милый свет. Он знал, что его горе, его болезнь – порок, который должно было вылечить твердой волей, он знал, что оно разрушит тело, но он не сопротивлялся. Привычка между тем пускала всё глубже и глубже свои успокоительные, но ядовитые корни.

У всякого свое призвание, хотя бы и мизерное призвание, своя потуга... Его призвание заглохло в острой похоти, в глухом влечении к женщине. Он любил, кажется, только женщин. Все лучшие радости, весь свет, всё благоухание в его жизни вышли из этой большой и неразумной любви. Женское тело, обтянутое ли в узкое платье, в ночной ли рубашке, обнаженное ли, женская походка, женский голос будили его воображение, его мысль. Эта любовь, едва сознаваемая, как бы еще не телесная, жила в нем еще в детстве, он обдуманно развивал ее ночными мечтами, играми с девочками, сиденьем на коленях у няни. Он радостно чувал, что с каждым днем страсть его разрасталась... И потом, с болезненно-сладкой отравой в душе, весь – предчувствие неведомой неги, – он нашел исход и как откровение, как бесконечную радость, отдался этой неге, и больше уже не думал о возврате, и всю душу, и весь разум, все содрогания своих нежнейших и лучших чувств потопил в этой неге.

Он любил наслажденье, которое он себе доставлял, – как свет, как единственное благо – на груди ли женщины, или в одиноком безумии... И какая нега во всем теле, как день улыбнется краше, грудь широко вдыхает жизнь, раскрытые глаза явственнее воспринимают каждое впечатление. Это было в начале... Вся душа была высоко, всё тело настороже.

Два-три года расцвета.

Чудилось, он был любимец судьбы, герой, выдающийся человек. Его любили, в него било нетлеющее пламя; его «избирали», товарищи глухо завидовали и возбуждали этим еще больше его нервное, почти женское самолюбие...

Два-три года расцвета. Возбужденное тело работало порывно и сладко. Кровь, вступая в борьбу с детским разумом, говорило «хочу», его глаза блестели, он повторял «люблю». Он не любил, он только хотел. Только, но не правдивее ли, и, кто знает, не глубже ли это «хочу» даже самой любви. Он видел в страсти самую жизнь, и, охватывая сильными руками гибкое тело, он относился к нему с трогательным благоговением. Это был настоящий культ, и женщины это видели и любили его беззаветно...

Потом годы борьбы, годы борьбы томительных и темных дней со светлыми днями, с днями нетлеющей любви, несгораемой неги, годы борьбы, годы, в которые побеждали темные, тягостные дни и выводили свои укоры, свои слезы, свой запоздалый совет. Но возврата уж не было...

«Надо вставать!»

Он широко распахнул занавеску, разделявшую комнату на две половины, и тело его болезненно дрогнуло. Сизая, мокрая бель петербургского утра пронизывала стекла низких окон и охватывала... его ноги.

Всё казалось омерзительным, резким; его лихорадило. Чистое белье заставило опять судорожно затрястись. И ощущение, когда надеваешь холодную крахмальную рубашку – притом не полотняную – узкие сапоги – он только вчера купил их – всё было враждебно, холодно... Волосы подымались на голове...

Дрожа всем телом, он стал одеваться.

II

Не некрасиво, но как будто старушечье личико, словно бы измученные глаза, бесцветные, но милые; волосы тусклыми прядями упали на худенькие плечи шестнадцатилетней девочки; слабые руки перетирают пряди...

Это он хотел, чтобы она так снялась.

Он встречался с ней каждое лето почти с детства, и она горячо и навеки привязалась к нему. Она не по-детски любила его, отроком уже отдалась ему; и как ей хотелось, чтобы он полюбил ее! Она лелеяла его, не смея ничем, ничем коснуться раны его, потревожить минутный покой. Она хотела всю жизнь глядеть в глаза ему, нежить его, согревать, сдерживая слезы, устало улыбаясь, и – в часы страсти она целовала его руки. Она подчинилась жестам, манере говорить, даже думать. Она ловила оттенок его голоса, бесконечно ей милый, усвоить любимую привычку; и в этих ощущениях был уже полный человек, и ребенок в ней умер давно. Он не любил ее, но обходился нежно, как с дочерью, и огорчался, когда иногда изменял своему отношению, но болезненные мечты и глухие мысли прорывались в разговоре невольно, и она боялась его настроений, и от этого еще больше любила.

Сначала были гаденькие чувства, и она была для него нежное, милое тельце. Он развратил ее сознательно вечерними разговорами на мягком диване, неопределенными ласками и прикосновениями. Он до тонкости изучил мягкую гибкость воображения, с изысканным мастерством возбуждая свои сонные, но воспаленные грезы. Он находил несказанное наслаждение в чуть ощутимом, в чуть слышном для кожи прикосновении к телу женщины, еще большее – девочки, высочайшее – девочки, милая и детская страсть которой только-только забрезжила в крови... И было в этом большее опьянение, и не было раскаянья после него, и тем пленительнее было опьянение.

Иногда думалось: «зачем он испортил ее», но мысль не останавливалась на любовном лепете бедной девочки и всё больше уходила в свой ленивый полусон.

* *
*

«Наконец-то надеюсь <написать> тебе письмо более сносное, чем те, которые писала раньше. Теперь мне не так тяжело. Когда ты уехал, было ужасно тяжело, я сама не знала, что со мной делалось. Ночью я не могла спать и совсем не могла оставаться одна в темной комнате: я всё видела и слышала тебя...

Не думай, Шура, что я лгу...»

Шура взял другое письмо и стал читать с третьей страницы: «...Дорогой, я взяла себе записки, которые ты оставил в своей комнате. Ничего? – Мне было жаль...»

На следующей странице: «Это что-то ужасное: опять дождь, лужи... Если бы ты знал, какую печаль представляют из себя Рудаки: грязь непролазная, деревья почти голые, всё такое жалкое. Только что собралась с Илюшей в лес, пошел дождь... Ах да, совсем позабыла! Я видела сегодня очень дурной сон – ты ведь веришь в сны – будто шел сперва мелкий, а потом крупный град, и я всё собирала, собирала его, а потом пошел сильный дождь. Говорят, что у меня будут неприятности и слезы. Не знаю, что такое случится! Правда, Шура, правда, милый, как ужасно несправедливо, что другие видят тебя каждый день и, наверное, для них это все равно...» Другое письмо: «Который час? Мне не спится и не спится. Где спички? Спичек нет! Ах, вот они. Без десяти минут два. Ну, вот я и опять пишу тебе и опять не получу ответа, хотя знаю, что ты получил мои письма. Не понимаю, чего ради я пишу? Тебе ведь совсем не интересно знать, что со мной творится, как я живу-могу без тебя...

Глупо было бы, если бы я обиделась на то, что ты мне не отвечаешь, так же глупо, как если бы я, не получая от Бога того, чего прошу, перестала бы молиться... Шура, дорогой, ты ведь говорил, что ты можешь “давать счастье”, так дай мне его, тебе это ничего не стоит. Я прошу! Да, прошу, прошу. Не смейся надо мной! Слышишь, не смейся! Не оскорбляй святого чувства. Я люблю тебя так чисто (пошлость? опять смеешься?)... Знаешь, Шура, я верю, что не было ничего дурного в моих отношениях к тебе, потому что после греха бывает раскаяние. У меня не было раскаяния. А я так боялась... Как поздно-то! все спят! Я буду думать о тебе, увижу тебя во сне... Спи покойно!.. Знаешь, мама говорила, что я побледнела, похудела... Мне все равно! Я знаю, отчего я хUDEЮ, и я рада.

«Я нездорова. На этой неделе хотела говеть, а теперь нельзя. Вчера приняла вместо 15 капель два раза по 20. И у меня что-то болит живот... Ничего не вижу, надо зажечь свечку. Сейчас принесли уроки...»

«Я знаю, что ты не ответишь мне. Я буду писать тебе, если ты даже не захочешь отвечать мне, и никогда не перестану любить тебя,

милый мой, дорогой... Я счастлива, что ты иногда целовал меня, что я изредка видела тебя. Теперь уж вечер, я только что кончила уроки... В доме всё тихо. Я всегда пишу тебе вечером, не знаю, отчего?

Сегодня мне принесли примерять платье, песочного цвета, гладкое. Мне очень нравится, только не знаю еще, чем отделать. Лентами того же цвета – бесцветно. Цвета мусс или бледно-фиолетовыми? Посоветуй, милый. Я пришлю тебе образчик. Знаешь, когда я шью себе платье, я всегда смотрю – понравится тебе или нет? Ты говорил, что мне светлые больше идут...»

И Шура оторвался от писем и напряженными от чтения глазами взглянул на портрет. Впадины под скулами напомнили вдруг по какому-то родству представления ее ноги, покрытые белыми, немного стоящими волосками, ноги, кожа которых слишком обнаруживала кости, и он поморщился. В своем бессвязном уме он создал себе совершенный идеал женского тела с округлостями античными, с тонкой благоухающей кожей... «Зачем он испортил ее?» – и на языке осело что-то вроде горького, кисловатого вкуса, и впечатления стали острее и безвыходнее... И стыдно было за себя, и стыд был тяжелый и такой беспокойный, что было еще беспокойнее, чем стыдно. Всё раздражало: длинная комната, оклеенная светло-серыми обоями, с обычными, продольными узорами, которые поминутно мелькали в Шуриной голове; невзрачная мебель: стол, этажерка, большой прямой диван, зеленая занавеска посреди комнаты – он оглядел и закрыл глаза... Всё, всё утомляло и назойливо вертелось в числе мыслей – и сереющий день, который пронизывал окна и ложился бледной, невидной тенью – на продольные фигуры обоев, на пол, на мебель, раздражало, что на столе раскиданы бумаги и книги – убрать! эта мысль не могла и возникнуть – раздражало, что мебель стоит на обычных местах, что куртка и брюки – он оглядывал себя чуть ли не со злобой с ног до рук – в мелких «несмываемых» пятнах... Он резко отодвинул стул и, заложив руки в карманы, заходил взад и вперед по комнате, глядя на пол. Он искал предмет, на который он мог бы еще раздражиться... На полу лежала едва заметная бумажка. Он увидел ее с самого начала, и мысль что-то засосала. «Надо ее поднять!» – И было стыдно это сделать. Он ходил взад и вперед по комнате и не мог поднять, решительно не мог. Мысль сузилась на этом и не сменялась новой. Он подошел к окну и стал к нему

лицом – вполоборота, и старался забыть о бумажке, отрывисто качая головой. Но мысль всё сосала – казалось, самое сердце. Тогда он с силой подошел к бумажке и стал отбрасывать ее ногой, куда<-то> в угол, к печке. Но бумажка пристала к полу. Тогда он наконец, страшно стыдясь, быстро нагнулся, схватил ее, свернул, но не знал, куда деть, и наконец положил в карман.

III

За окном темнело. Мутно-синие городские сумерки шли сверху, грузно спускались, то подползали откуда-то снизу, толпились в углах и простирали на полу свои длинные руки, бросали на потолок длинные, перемежающиеся тени. Шум гудел, гудел и, казалось, где-то вверх, и не переставая. Мерцали фонари.

Укутанный в плед, Шура сидел, забившись в угол дивана, и ежился от внутреннего холода... Не только от внутреннего: ноги ужасно мерзли, голова озябала, пальцы скользили по пледу. Нужно было встать, нажать пуговку звонка и сказать, чтобы затопили печку, но он не двигался.

Сумерки и гул улицы стояли за окнами и словно бились в них, как две большие птицы... Сердце падало, и голове не работало, и Шура хотелось припомнить свой сон, до боли хотелось; сон стоял за серой, колеблющейся перегородкой и будто виднелся сквозь нее, но перегородка колебалась, и сон не являлся.

Даже сон... Он был один, дни умерли, порывы перестали рождаться.

Он старый, он в уголке дивана – это самый большой мир, в котором ему осталось жить. В тот, который гудит и бьется в его потускневшие окна, его больше не пустят, да и страшно войти туда, теперь... У него был порыв, который согревал его тело и давал ему жизнь; этот порыв был больше, чем жизненной силой: он возбуждал и вдохновлял. У него была сила молодости, которая заставляет людей, обладающих ею, быть властью имущими, не обладающих – нищими. Нищие по инстинкту, без сознания протягивают руку и ждут подаяния. А имущие с каким-то сладострастием дают им жизнь на счет своей силы. – Он угасил свой порыв, свою силу, которую безотчетно чуяли женщины и шли к нему, возбужденные

его властью, светившейся в глазах, в горделивой улыбке... Дни умирали, не вызывая ни сожаления, ни раскаяния в душе, только в обессилевающем теле подымалась глухая боль, и воспоминанье плакало и выносило старые тени.

И вот глаза его широко раскрыты, он видит – внутренний холод сменяется тихим теплом, – последний свет, плавно колеблется перед глазами какая-то серая пелена – последний свет – милые тени – он видит...

Вечер, где-то далеко... весна, белая, бессильная, тихая улица, серые камни, овеванные пустынным холодом – и высятся стены...

Одиноко ступает она пустынной улицей. Печально поникли ее милые руки, и складки темного платья упали, и поступь бессильна. Бледная, проходит она тихой улицей, фонари не освещают ее поникшего лица и словно гаснут... Отчего зажгли фонари – белая, белая весна, в небе редкие голубые звезды.

Нет, она не смеется, – она тихо склонилась, задумалась или плачет? Остыли ее нежные руки, складки темного платья поникли... и чудится – вот-вот брызнет горячая назревшая слеза...

Но в небе, в веселом бледном небе – милые голубые звезды...

Шура видит, Шура легко, его глаза смыкаются, ему снится, и он так ясно видит... Ночь... Медленно скрипнула тяжелая дверь... Полог над детской кроватью чуть колеблется в лампадном свете, и свет на одеяле, на руках... руки закинута.

Он стоит и с болезненной улыбкой смотрит на ее дорогое тельце... И он хочет подойти, разбудить... видеть, как откроются в испуге глаза, как грудь задрожит, руки дрогнут и отдадутся... Нет силы... Она спит, не проснется... Он судорожно сторбился, закашлялся, схватился за грудь... Оборвалось...

За стеной пела рояль, бесшумную, успокоительную песню, которая – мнилось – звучала на пустынной улице, под голубыми звездами и небом... Шум улицы, казалось, утихал где-то – внизу. Был покой, и вечер, и полумгла, и тени вечера, и звуки песни мирно уходили в успокоенную душу и лелеяли ее...

Был ли это сон?

Шура встал, зажег лампу и стал читать что-то такое тихое, незлобивое, боясь – всех этих мыслей и боли и даже утра – вот-вот настанет утро, и свет, и шум, и холод, и мысли... Но был вечер, был покой...

IV

Было уже поздно – вечером, когда Любимов отворил двери – зади стола, за которым сидел Шура, и вошел вкрадчиво, с несколько деланной простотой: он не протянул руки и прямо сел на стул против Шуры. Бледное красивое лицо – почти без растительности, казалось отмороженным, черные глаза глядели без мысли, но строго; кудри были плохо расчесаны...

– Ужасно холодно и шумно на улице, – проговорил он, не глядя на собеседника.

Шура пугливо посмотрел и ничего не ответил.

– Раздражительно-шумно, притом Петербург– город больных и изнуренных. Все страшно озабочены, но заботы реальной нет. Болезненное хотенье действовать, да кругом дома. Лошади – это какой-то диссонанс. Они – живые. Дома – мертвые, камни – мертвые, фонари мертвые, мертвые грезы, я хотел сказать, – потому что ведь всё грезы. Всё мертвое, а лошади живые... Словно бы не та нота. – Он сделал призрачный жест рукой и посмотрел в сторону; вдруг у него вырвалось неожиданно и как-то вполголоса: «Очень тяжело!»

Шура смотрел на него покойно и даже с интересом, но ничего не отвечал, чувствуя, что его слова – не нужны.

– Мертвое и живое перемешано, как добро и зло. Не знают разницы... Где же знать? – Нет точки опоры.

Его черные большие глаза стали медленно гаснуть.

– Нет точки опоры, – повторил он инертно. – Знаете, я любил женщин с бледной, тихой, но проникновенной душой... Я, впрочем, не знаю, душа, может быть, тоже греза... Оставим мудрость! Только я не знаю, живое это или мертвое – любовь к женщине; кажется, – живое. Живое гораздо тяжелее мертвого. Мертвое не требует разгадки, где живое – там загадка... Когда я стал очень близок... очень... Простите, может быть, я грубо и режуще поэтическое чувство говорю. Только ведь у меня понятия смешались как-то, я ничего не понимаю, что у вас там грубо, что тонко. Так я хочу сказать, когда я стал очень близок, и она отдавалась мне... Я не вхожу в подробности... Понимаете, – когда она уже обнажилась, я услышал запах, вероятно, хорошо знакомый всем акушеркам... Извините!

Шура облокотился на стол и глядел в стену. Ему стало неприятно, и захотелось переменить мысли. В комнате было пасмурно и неприятно.

Шура встал и стал ходить по комнате. Он ничего не говорил и ни о чем не думал. Изю всех углов шла тьма, смешанная с желтыми лучами двух стеариновых свечей, шла скучная, унылая и облекала мысли, которые гасли, едва возникали. Эти полурожденные мысли как-то странно вертелись вокруг любимовских слов, не осуждая и не примыкая к ним.¹

– Нет, это понятно...

Любимов помолчал.

– Знаете, травы не потому вянут, что они от земли оторваны, а по чему-то другому. Я, впрочем, не знаю... Знаете, я вот сейчас сказал о травах, а сам о другом думал, потому о травах и не вышло. *Woran ich denk?*² Ах, я вам хочу рассказать одну песню, как на улице две курицы с петухом дерутся, а на окошечке две кошечки над петухом смеются...³ Это ведь целая аллегория или символ, все равно... Одна дама сказала, что «всё – символ!» – Умная дама...⁴

Любимов остановился, Шура ходил...

– О, мы все одиноки, все одиноки... и где исход, пусть верят – мы все одиноки... Я знаю, что вы не понимаете меня, потому что мы одиноки; я это давно знал, только не хотелось, трудно... Но какое смирение, какая любовь! Всё к одному, всё сливается – и какое одиночество! Я знаю, что вы не любите меня...

Шура хотел ответить и промолчал, а Любимов сидел и, казалось, пробирался ощупью в полумраке, идущем из его больших глаз, отыскивая оттенки раздраженной, едва-едва выраженной мысли.

– Говорите, если вам что-нибудь нужно от меня, через несколько минут я сделаюсь угрюм...

– Нет, что же мне... Как хотите...

Шура понял его.

Глаза Любимова всё гасли и гасли. Перед широкими зрачками расстилалась широкая холодная мгла, и смуглое лицо начинало желтеть. Шура становилось неприятно.

В комнате на минуту свечи поблекли, и он, оглянувшись на все предметы, одетые полусумраком, почувствовал, что в груди его – поднимается что-то темное, мерзкое, вызывающее тошноту,

и он недружелюбно глянул на Любимова... «Опиум!» – сказал он себе и глядел на Любимова всё недружелюбнее. «Зачем?» – промелькнуло у него, и ощущение горечи совсем подступило к горлу.

Он сел за стол. Любимов начал говорить сухие, отрывочные слова, – не то грезу, не то действительность, – он неприятно сжимался, наклонял голову, его глаза смыкались, из-под ресниц просачивались слезы...

* *
* *
* *

«Ох, зачем, зачем?» – всё поднималось в Шуриной голове, когда ушел Любимов. И впечатления темноты, и воспоминания о Любимове, и назойливое «ох, зачем?», и отдаленный ряд часов с утра до вечера, и еще отдаленнее сон – проходили, словно однообразные роты войска, в его усталом мозгу.

Он поднялся с кровати, спустил голые ноги на пол и глядел в пустой, пыльный полумрак комнаты, ничего не искал в нем и умирал этим волнение. Стучали редкие колеса. За стеной перемежались редкие звуки, хлопала дверь... И не тени, а холод тени подползал к ногам, и ноги испуганно сжимались.

V

«Любимов был раньше другой», – наконец облеклось в мысль медлительное, несносное чувство. «Да, раньше – другой... Раньше, – когда – раньше?» Шура облокотился на голые колени сжатыми руками и всё смотрел в серый мрак, из которого лениво выступали обычные предметы... «Раньше!..» – и тихая, как бы светлая волна поднялась и понесла душу; воспоминание росло, светлело и любовно выносило старое, хорошее. Правда, это «старое» не было так хорошо и пленительно, когда оно переживалось, но «не всё ли равно». «Слушай! Слушай! – говорило воспоминание. – Слушай!». И Шура слушал.

В майские вечера, когда петербургский воздух, и шум, и шаги на улицах не тихо засыпают, а бредят, сливаясь в бессвязную и томную песню, в майские вечера в Петербурге плохо работается.

У Шуры были последние дни перед экзаменами, был вечер, и плохо работалось. Он вообще редко ходил в гости – товарищи были «не такие, как он», «не того цвета», и он рассеянно брал то ту, то другую книгу, то подходил к окну и глядел в сереющий воздух, слушал отдаленные шумы – окно выходило на двор – думал неясное и вспомнил среди этих дум Любимова. Он оделся и сразу пошел к нему. И они сразу решили, что они должны были сойтись. Смешно! Он раньше несколько небрежно разговаривал с Любимовым и смеялся, отзываясь о нем. Они не то что поняли друг друга, – они словно подали друг другу руку.

– Вы пришли ко мне? Войдите!

– Что? Я Вам не помешал... Ничего, вообще?

– Войдите, я Вас ждал!

– Ждали?

Любимов смущенно зарделся (о, он был совсем не такой тогда) и сказал: «Да, ждал».

Шура ходил к нему почти каждый день, Любимов стеснялся.

– Я Вас провожу, – сказал раз Любимов.

– Проводите? Идемте!

До дому было недалеко, и Шура обрадовался; в его груди билось сердце, его глаза глядели к небу, он удивлялся себе. Они шли, говоря отрывочное, что-то доброе, почти любовное... Они остановились у высокого деревянного забора. Над ними были деревья, напротив – на другой стороне улицы, там, где-то на окраине, виднелось прозрачное небо, очевидно – над Невой. И опять они говорили, больше Шура; Любимов тихо глядел большими и ясными глазами – туда, где небо. Шура опять говорил что-то нежное, ласковое и о себе, и о женщинах, и ему хотелось целовать смуглое лицо Любимова. Любимов молчал; он думал в те минуты, когда глядел туда, где небо, что она, его Нина, нежная, красивая, особенная, он вспомнил резкие черты ее тоже смуглого лица, порывные взгляды ярких глаз, обеты, которые он искал в незначащих словах, брошенных почти на ветер. Он любил ее, как ребенок, он ждал от нее откровения, света, и прозрачное зеленое небо было молодо и чисто над ним.

– О чем Вы думаете?

Любимов молчал.

– Скажите!

– Мне не хочется говорить, в этом есть пошлое...

И Любимов не хотел говорить, и Шура добивался. И тогда Любимов застенчиво стал водить пальцем по стене деревянного забора: «Я напишу!» Шура внимательно и ласково следил за движениями пальца и прочел вслух, несколько резко, «об ней».

На лето они расстались. Они писали друг другу – и делались отчего-то скрытнее и скрытнее с каждым письмом. Осенью они опять часто и постоянно виделись, – и были чужды друг другу. Любимов переживал свое, детское, огорчался, мысль темнела, окаменевала, Шура уходил в свое ленивое и гнетущее...⁵

Воспоминание вдруг повернуло. Шура вздрогнул, поднял ноги, укутался в одеяло, и горечь сегодняшних впечатлений и пресыщение от нежной сладости – поднялось и подступило почти к груди, к горлу, – поднимало слезы. Было болезненно стыдно – (Любимов прежде и Любимов теперь), болезненно хотелось остаться одному, закрыть глаза и не помнить, ничего не помнить...

* *
*

Ночь ушла – только слышно, как шелестнули ее влажные лохмотья; ночь ушла – тени качнули руками, поднялись и плачут. Стены – сырые и окна... о бедные утренние окна, они – бедные, скучные, и ждут они покорно дождя. И дождь пошел, и пошел он не сильными ударами, не крупными слезами, пошел незаметный, сочащийся, и таял, как осенний снег. Ночь ушла – ее провожали холодные звуки – откуда шли они? – день выносили старые тени, и дым поднимался ему навстречу...

Окна глядели грустно на Шуру... А Шура ходил всё по комнате, и комната, казалось, таяла у него под ногами. Руки были какие-то сухие, и неприятно было ими коснуться...

Комната – таяла – окна глядели... как они глядели! – Шура ходил по комнате... «Господи! Что делать!? что делать?» И представлялось ему, что он в лесу и лес этот без деревьев, и все-таки лес, и вместо деревьев какие-то призрачные, обнаженные очертания, – белесоватый свет, и лес тает в нем. И ему брезгливо ступать по мокрой заиндевевшей земле, покрытой отсыревшими листьями –

ноги босы... Шура весь затрясся и всё ходил. Иллюзия пропала, душа (– в самой груди) как-то расширилась и пустела, пустела.

«Господи! Господи!» – он не смотрел на стены, на мебель, только иногда видел потолок, белый потолок (что он белый, бросалось в глаза), и глаза туманились. В груди пустело, и по мере того как пустело, какие-то мысли, как оазисы, всплывали явственно в прозрачном холодном воздухе среди этой пустыни. Мысли были покойны, но всё в том же свете сегодняшнего утра...

«И опий, потому что утро...» – вырисовался оазис. «Любимов, вечер, вчерашний разговор, пожелтевшее лицо и отвратительный бред и слезящиеся глаза... Потому и опий, потому и опий... Как же – противовес! противовес!.. Ох, ох...» – И всё ходил, ходил по комнате...

Шура был один, давно один.

VI

Над городом утро. Туман, тепловатый и темный, чувствуется, расплетаясь, делается всё гуще и гуще. Дома едва смотрят сквозь его водянистую вату. В окнах еще спущены шторы. Открывают ставни магазинов, и возы тянутся длинной, медленной вереницей по холодной мостовой, серой и словно вылизанной... Над городом утро...

Там в высоком коричневом доме, в третьем этаже, живет семья.

Утренний чай. За столом, накрытым белой клеенкой, сидит хозяйка дома, худощавая и высокая дама лет сорока. Лицо, должно быть, было красиво – но давно. Теперь узкий овал лица поблек – карие, угасшие глаза пристально и печально глядят, прическа с пробором посредине открывает невысокий лоб с морщинами.

Она грустит. Сердце замирает и от воспоминаний, и от наставшего дня, который ей заранее рисуется скучным, – и от этого темноватого утра. Оно всё ползет, стелется, наполняет незримо воздух, подступает к лицу. Клубчатый дым папиросы, вероятно, теплый, ложится клочьями в тусклом воздухе. Против нее сидит маленькая девочка – ее дочь. Она заботливо пьет чай и, по временам, желая выразить, что ей очень весело, что она рада наступавшему новому дню – новым играм, новым улыбкам, болтает под столами толстыми ножками, и ее карие глаза загораются милым огоньком.

Мать и дочь не проронят ни слова. Лида безотчетно чувствует, что матери скорбно; ей чудится это по медленным клубам дыма, по остановившимся глазам, в которых темно. Эта скорбь не тревожит ее, ей беззаботно; и вот она с живым любопытством смотрит, как холодное масло тает, намазанное на теплый кусок калача. Это забавно! Забавно и то, что чай к концу чашки становится всё слаще. Вот она кончила пить, вытерла губы... Ей весело; она подбегает к матери и прижимается к ней, ласкаясь... «Мамуся!» Ирине Григорьевне становится легче на сердце от этих детских прикосновений, но на словах она строга. «Кончила, Лида? Иди в детскую!» Лида целует в губы и бежит в детскую. «Хорошо, что я немного строга с детьми, – думается ей, – а то распустишь, – как потом сладишь, да и не сладишь совсем!» Мысли движутся дальше – ровно, неторопливо, бесцветно... Ей ужасно скучно. Не рассеять этой скуки во весь день, пожалуй, и за что взяться?.. Папироса выкуривается за папиросой, день ползет-ползет... Часы звонят девять. Проходит еще минута. Дверь, против которой сидит Ирина Григорьевна, раскрывается с легким скрипом, – на пороге другая дочь ее – Ксения. Она в черном, просто сшитом платье, без кружев, немного запачканном; платье обтягивает ее несколько полный, но изящный стан. Ее округлое лицо, окаймленное белокурыми волосами, вдумчиво, и эта вдумчивость в губах: – серые глаза под длинными ресницами – глядят уныло и как-то небрежно. Челка чуть зачесана назад; щеки с детским румянцем; белая шея в легких кудрях – дышат свежестью; рука поправляет прическу.

Кися на мгновенье приостанавливается на пороге. Потом она подходит к матери; наклоняясь, целует ее и говорит: «Здравствуй, мама!» Она отчетливо, с едва заметной запинкой выговаривает каждый слог.

– Коля еще не встал?

– Нет еще...

Кися берет чашку из рук матери и, прищурясь, вглядывается в ее глаза. «Мама сегодня не в духе и неразговорчивая...» Она отворачивается.

Белый утренний туман смотрится в окна и заставляет ее на минуту задуматься. В голове мелькает, чем ей сегодня заняться, и мысль идет лениво, пробегая вперед целый длинный день. Он рисуется тоскливо, он рисуется, как густой туман, сквозь который

пробраться стоит и порыва, и усилий. Его влага прилипнет ношей тяжелого воспоминанья и усталости и пригнет только под вечер к мягкой приятной подушке: только один сон в силах стряхнуть эту нощу дня.

И уж давно Кисе всё надоевшее, отвратительное, тягостное представляется – влажным или даже мокрым, сырым... И она глубоко, глубоко не любит эту влагу... Белый утренний свет становится ровнее, будто – рассветает.

Ей хочется сказать: «О-о, как скучно, как темно!» Но она воздерживается и только проводит ледяной рукой по лбу. Печальные глаза Ирины Григорьевны останавливаются на ней. «Что ты, Кися? Голова болит?»

– Нет...

Она встает полусонная и идет в гостиную попеть. Каждое утро она поет, а четыре раза в неделю ходит к учительнице пения – берет уроки. Пение всегда отрезвляет ее.

Гостиная. Рояль, в простенке узкое трюмо с двумя свечами и с тарелочкой для визитных карточек; кисейные занавески, камин без экрана, у одной, самой длинной, стены красный триповый диван,⁶ овальный стол перед ним, накрытый полинявшей скатертью... На стенах две-три картины, аляповатые и бессодержательные, по стенам – стулья... До скуки знакомый, о, с какого далекого детства знакомый вид!

Кися открывает рояль... Стоя и ударяя клавиши, она начинает петь отдельные ноты, высоким, слишком резким голосом. Ей нравится, когда звук плавно и звонко вылетает из уст; легкая усмешка бродит по ее губам, – она гордится. Неверные или немного хриплые звуки портят ее настроение, и губы сжимаются в обидчивую гримасу.

«Он говорил мне, будь ты моею,
И стану жить я, страстью сгорая...»⁷

Старинный, ученический романс.

За стеной – за закрытой дверью, в столовой слышно, что вышел к чаю Коля. Он поцеловал мать в лоб (он иначе не целуется)... Романс кончается тихим замиранием. За стеной разрастается разговор. Кися улавливает только слова, смысла ей как-то не хочется ловить... Надо петь!

«Я помню, глубоко, глубоко мой взор...»⁸

«Когда папа был жив, не так скучно было... Мама с Колей всё сорятся... Вот опять! Коля... у него рука отнимается, ему нельзя заниматься... Сколько разговор<ов> из-за этого! Ну, не можешь, – не учись! Да, не учись... Несчастный он...» Кися закрывает рояль, облокачивается на него, и мысль о том, что он калека, делается острее и обобщается: «Неужели и всем скучно, и все тоскуют, все несчастны и одиноки... и не нужны?» Она безучастно смотрит на рояль, потом полусознательно отходит, открывает дверь и входит в столовую...

VII

Вечер; незатейный будуар – кушетка вкось с поблекшими цветами, перед ней светлый ковер, по стенам и на столиках – карточки артистов в плюшевых рамках, веера, портрет Шумана;⁹ у окна детский письменный стол с решеткой – на нем не убрано; у двух окон, заде<рну>тых сквозными занавесками, цветы... Вечер наступил, наконец наступил после стольких длинных часов, томительных, темных с утра. Сегодня никого нет дома. Придет ли кто-нибудь? Кисе скучно... Что бы придумать? Она не думает – с ней часто бывает, что она одна, что все холодные и чужие... Сегодня ей томно, сегодня хочется помечтать.

– Стеша... Сте-е-ша!.. Да, которое сегодня число? – Кися встает посмотреть на календарь... – Сте-еша!

Она помнит, что сегодня среда, но ей хочется удостовериться.

– Что вам, барышня? – В дверях стоит Стеша.

Кися наклонилась к стене и усталой рукой поправляет покачнувшийся календарь.

– Потушите мою лампу и зажгите фонарь.

Горничная тушит лампу, а Кися ложится на кушетку и мечтает – на минуту – впотьмах... Вереница событий, протекших за последнее время, проходит в наступившей на минуту темноте. Лицо Шуры улыбается, так удивительно улыбается. Он входит, словно широко пахнув новым веянием. Ей знакомо его пальто, словно свое... Шапка сбрасывается, частые шаги, – он в гостиной. «Здравствуйте, Ксения Александровна!» – важно, напыщенно!

Потому что нельзя же при всех сказать: «Здравствуй, Кись-Кись!» Как он говорит... Кися почти что вслух, замирая, выговаривает: «Кись-Кись! Шурушка мой!» – Мечты всё несвязнее, рассыпаются и пропадают. Кися открывает глаза... «Ах, что это? Стеша ушла... Фонарь уж зажжен...»

– Стеша!..

Стеша возвращается и вопросительно смотрит брюзгливыми глазами.

– Дайте мне с туалета – вон там! пузырек, вот... синенький такой...

– Этот?

– Да нет! Вон тот – с духами... Ну да!

– Больше ничего?

– Больше ничего. Идите.

Кися берет фарфоровый флакон японских духов и душит свои руки, лицо, волосы, платье, кушетку, бросает капли духов на стены, на ковер... Хорошо! И ей мечтается... Смутная ласка проходит, но не в воспоминаниях, не в сердце, нет! где-то внутри, горит и скользит и опьяняет кровь... Всё тело вздрагивает, произвольная, нежная дрожь в груди, сладко... дышать сладко и трудно... Она схватывается руками за грудь, думая успокоить жажду, схватывается за грудь и вспоминает другую – сильную руку на своей груди. Она порывно расстегивает платье, касается рукой обнаженной груди и повторяет... Шурино движение... Духи опьяняют... Звонок...

– Это Шура! Его звонок!..

Она наскоро застегивает платье, вяло опускает руки и мутно глядит...

* * *

На ночном столике – горит свечка; евангелие, книжка стихов Полонского,¹⁰ взятая из библиотеки, стакан воды, маленькие часики, которые утомительно тикают. Над столиком висит зеркало...

Кися, полураздетая – рубашка спускается с плеча – стоит перед зеркалом и смотрится в него едва воспаленными, но покойными глазами, расчесывает волосы, и какой-то призрак клонит ее голову к грезам. Она смотрит на свое лицо, и оно веет на нее настроением задушевной простоты и нежности... Она чуть улыбается и видит

свою улыбку. Она вспоминает, что сейчас произошло с ней что-то неожиданное, словно бы стыдное, но ей легко. Ей хочется грезить – подолгу, сладко; ее голову клонит прилечь...

День кончился... пора, пора! Какой хороший день! Забыты туман, и утро, и длинные часы, и помнится только вечер. И думается ей – хорошо бы жить всегда вдвоем, не утаивать ласки, открыто любить... Нет!.. Хорошо и скрывать, хорошо слышать сдержанный шепот – «Кись-Кись!» Она мечтает о том, что хорошо еще прижать его, на всю ночь, укутать его под свое одеяло... Ей стыдно, ее грудь чуть рдеет, и голова горит...

Свечка догорает, вспыхивает. Кися откидывает голову назад, связывает волосы поперек большой черной лентой и тихим, самоуверенным шагом идет к уютной постели, укутаться в мягкое прохладное белье, в тяжелое одеяло. Она тушит свечку, складывает руки на груди, прижимает к груди и сладко, будто бы по-новому, дышит – и отходит ко сну.

* * *

Утро глянуло, как всегда, сырое, темное, скудное и, не торопясь, разомкнуло ресницы – встать! Кися потянулась... Были сны – какие? – не вспомнить... Шура! А вдруг все узнают – мама, подружки... будут глядеть не так, как всегда; скажут: «Еще мальчишка!» Ей становится неприветно. Она подымается, медленно натягивает чулки и думает всё то же, и мысли – неясны, и не думает, а чувствует, что нельзя так дальше... Слышно – звонок... Кто это так рано?

Утро глядит, и совсем как вчера – с бессознательным упреком, – но тумана нет. Воздух – сквозной и безжизненный; несутся неверные звуки. Дома – безмолвные. Они высятся, высятся в воздухе, они думают, они вспоминают – и молчат, – окна тусклы и неподвижны... И Кися – одна, совсем одна. И мама, и Коля – они добрые, родные. И Лида – славная дорогая «крошечка», ненаглядный «шарик»... Целые дни – изо дня в день, изо дня в день... Неприветное утро, утренний чай, молчаливые взгляды, дым маминой папиросы, серый, волнистый... Коля говорит о больной руке; он вырос – как, а всё не может гимназии кончить!.. Потом пение, ненужное, заказное... Как хочется ласки, тепла, милых прикосновений дорогих рук! И пусть

они будут чуть ощутимые, едва сознаваемые, неблизкие, как будто издалека! – но как нужны, как сроднились с душой эти мягкие шаги, этот знакомый шорох в вечернем полумраке лампы, тихий смех, любимые слова... Она облокотилась руками на колени и грустно глядит. «Пусть говорят! Пусть говорят, что хотят! Шура – хороший, он не обманет... а если и обманет, – ах!.. всё пустяки, всё пустяки...»

За стеной – голоса. «Постучитесь к Кисе!» – «Можно?» – «Можно!.. пора ведь вставать, уж двенадцатый час... Да небось уж встала, можно и войти!..» В дверь постучали... У Киси бьется сердце, – Кисе легко... Она больше не думает. Она почти одета... Кофточка еще не одета? – Ничего! Она схватила серый платок и, кутаясь в него, с улыбкой на губах – пригнулась к двери и торопливо, еле слышно прошептала: «Войди, дорогой! Я готова!..»

VIII

Вечером все, кто собирался у Шуры, – так привыкли к его комнате, его вторая комната, в которой было много беспорядка, почти не было роскоши и которая – вся со своими темными обоями, с мебелью, с картинами на стенах, была словно душой Шуры. Свет лампы из-под оранжевого абажура был и ласковый, и раздраженный, и большой диван был глубокий и уютный, и все-таки на нем как-то не сиделось, – кресла, низенькие и длинные, примыкали к дивану. Ковры были жесткие и холодные, но запах, который носился в комнате, был сладкий и пьяный, должно быть, фиалки. На одной стене висела Богородица Мурильо¹¹ и еще – какие-то незначительные картинки, на противоположной – одна за другой в плюшевых рамах – аллегория испуганной [прелестью тайны], волшебной сказки в образе девушки с разбежавшимися волосами, в ужасе схватившейся руками за голову, великомученица Варвара¹² в блаженном безумии, со светлыми слезами на щеках – увидавшая Бога и ангельские лики, – Беатриче...¹³ И все эти ласковые, полудетские образы были в сумрачном свете лампы в полутенях.

И так покойно и легко было здесь предаваться отдохновенно лени, ни о чем не думая, может быть даже не мечтая...

Один из гостей – студент, высокий, белокурый, с голубыми глазами, со счастливой, детски-прихотливой улыбкой – сидел за пьянино под Мадонной и наигрывал полуслышно что-то любовное и заботливое; он сидел вполоборота, играл, не глядя на клавиши, и глядел на Шуру, который ходил по комнате неслышной, но волнующейся походкой, опустив голову, и ее волосы падали на лоб. Другой – сидел за письменным столом спиной и чертил широкие и ненужные штрихи, то схватывал карандаш и начинал писать, очевидно, тоже ненужное; то пригибался к столу и слушал звуки. Его большая голова моцартовского, но более вульгарного типа – со светло-рыжими завитками шапкой как будто вся улыбалась; всё его плотное тело было облечено в серую тужурку, которая была узка ему; и руки были здоровые, веселые и все отдающиеся. Всё его тело слушало и, казалось, порывалось говорить, согбенное над бумагой; и, глядя на бумагу, казалось, что буквы веселые и интересные. Третий был в глубине дивана; свет падал на него от письменного стола сбоку, тогда как белокурый студент, сидевший у пьянино, был в тени; третий сидел в уголке дивана и глядел на Шуру внимательно и настороживши уши. Те двое чувствовали, этот обдумывал. В нем было две стороны – одна, освещенная лампой, неприятная, больная, с холодным потом на лице, другая в тени – жалкая, бедная и обиженная. Он был ближе других к Шуре по настроению. Это был тот же Шура, с тою же болезнью и с тем же трепетом, но Шура был весь порывный, ласковый, с прирожденным благородством в каждом взмахе руки, в каждой интонации и улыбке; у Шуры его болезнь выросла в больших комнатах, под сенью темных стен в сумеречном свете лампы, в бессильных, но нежных грехах, – у того, который сидел в глубине дивана, болезнь была горькая, плебейская, выросшая на жесткой, может быть, дурно пахнущей постели, в сумерках тоскливого очнувшегося утра, под резкие утренние стуки и шаги. – Но это был сам Шура, тот Шура, которого он не любил в себе и который мучился по утрам, бесконечно одинаковым, безотрадно грустящим всей грустью ненужной, пришибленной жизни, когда он в ужасе содрогается от женских прикосновений – с морозным холодом в руках, в ногах, с безжизненным взглядом в глазах...

Шура говорил. И все они сидели, привыкшие к Шуре, и к комнате, и друг к другу, и знакомо шороху приятного вечера, и Шуре

часто казалось, что они – вечны так, как они сидели теперь и почти молчаливо беседовали. Сам Шура говорил раздраженно, со страстной дрожью в голосе, напоминающем по интонации голос драматической актрисы. Его серые глаза, пренебрежительные и болеющие складки краев верхней губы – трогали и проникали в душу.

– Мне жаль его? Нет, не жаль! Я привык говорить для слова. Бесконечный ужас – я боюсь почти за каждое слово и ловлю себя, дрожу и боюсь, что мое слово – ложь... Но мне всё равно! Мне неприятно смотреть, как рана сочится, как больной утирает грязными руками лицо, покрытое сыпью... Но мне всё равно...

Майный – тот, который сидел за пьянино, взял в это время нежную, словно весеннюю трель... Шура остановился, вслушался, потом провел рукой по лицу и отогнал песню. Липов, тот, который писал, перестал писать и опять зачертил.

– Мне всё равно, потому что я люблю свое тело... Мы привыкли к духовному и ушли от плоти, милой, бесконечно сладостной, несущей единственный свет; но в духовном мрак, если не приобщиться плотского, ужас смутения, нелепый хаос бесформенных мыслей, невыраженные чувства... Я люблю плоть, я к этому иду как к свету, хотя бы – и призрак – и я иду в потемки, в мрак, совершенно безысходный...

– Ты идешь – в мрак, – выговорил Марков.

И Шуре сделалось неприятно; он взглянул на Маркова и увидел, что тот глядит на него темным взглядом и с усталым напряжением ловит слова. Шура вдруг понизил голос: то, что поднималось от самых нервов, почти исступленно, заглушало раны, всё, что в продолжение часа – рвалось выйти из потемок души – и вылиться в слова, безнадежные, но утешающие – вдруг упало и как-то разбилось под взглядом Маркова.

– Но мне всё равно, всё равно, совсем всё равно, потому что я люблю свое тело, ничего, ничего, кроме тела, и потому не верю в душу, потому что нельзя верить без любви, а я не люблю свою душу, потому и не верю. И не хочу лгать.

Он умолк и, подойдя к лампе, стал глядеть на свет. Песня всё не переставала – тени были плотны.

– Я хочу сладких звуков,¹⁴ – Шура перевел голос на шепот, – прикосновений нежных и светлых, утешений – каких-то тоже светлых и далеких...

– В чем утешений?

Шура молчал. Его лицо сияло забытой улыбкой, всё тело дрогнуло молодым трепетом, и всех, не одного его, понесло на широких и невидных крыльях, всех, и закружилась голова от жажды, от предчувствий непереносимого счастья, и, казалось, все жили в одном и одним. Марков закрыл глаза рукой и неприятно резким, но сдержанным и певучим голосом начал нараспев:

«Мы одни... из сада в стекла окон
Светит месяц, тусклы наши свечи».¹⁵

– Погоди! Вот это! – Липов откинулся на стул. – Не знаю, чье, помнишь – где вечер и потом больное...

– Да. – Марков опять закрыл глаза рукою – и начал, а пьянино всё пело:

«Вчера – вечерний шорох, дорогие руки
И поступь милая, как девичья печаль,
Любимые, медлительные звуки,
Вечерний шорох, дорогие руки...
Зачем идти? Мне так глубоко жаль!..»¹⁶

Шура стоял и улыбался, улыбался призраку, который реял пред ним в образе Киси, светлее, бестелеснее, чем она сама – он видел всё, что пело пьянино и тот раздраженный, ищущий покоя голос... Он улыбался, и всех несли широкие вечерние крылья – вся комната с ее темными обоями, жесткими коврами, громоздкой мебелью казалась тенями, и самые тени становились... О Боже! – их не было, они уводили в одну большую вечернюю тень...

«Зачем идти? Обдуманном движеньем
Я детский поцелуй уныло оскорбил,
Я намекну о нем бесслезным сожаленьем,
Бесслезным сожаленьем...
Куда идти? В душе ни слез, ни сил!..»¹⁷

– Какое больное и нежное, – вымолвил Шура...

– Да, больное...

Майный ударил по клавишам и, резко отодвинув стул, подошел к лампе закурить папиросу. Он наклонился к столу и заглянул на

каракули Липова. Липов глядел на него искоса, вся голова его смеялась – он думал – «мефистофельски»;¹⁸ на бумаге значилось: «Все девицы скверны!»; сквозь это проходила стрела и, разрываясь, давала пламя (пламя была насмешка) – дальше шли круги, профили, носы, на одном из носов стояло «Γνωθὶ σεαυτόν»¹⁹; Майный улыбался и, сжимая плечи Липова, заглядывал в его серые глаза – и в этих глазах было много пыли, нежности, смеха и ни блеска насмешки.

– Какой ты, ей Богу, милый, – вымолвил он, и оба глядели друг на друга, и смех побеждал стыдливость откровенности; они смеялись не потому, что было смешно, их глаза горели не потому, что было весело; они жали друг другу руки и улыбались не призраку, как Шура, с грустными тенями над веками – они улыбались без затей, не думая, так, как улыбаются волны под ярким сиянием солнца. Так чудилось Шуру. Он всё стоял у лампы, и красноватый свет окутывал его грезу, которая росла и была сама Кися, облик, голос, улыбка...

– Возьми, – едва не говорил он, – возьми! –

Он глядел и на Липова с Майным, он думал, что этот смех и улыбки – вечное, святое, от детства родимое и святое.

Вечерние тени – несли их...²⁰ Тени, тени, и какие тени! – в вечернем сиянии неба или сумерек комнаты? – ах! они растут, они близко, они родные! Это – ласка, это колыбельная песня жизни, и не может быть, чтобы горе (или смерть?, которые были для него давно – одно) – и часто чудилось ему – взбиралось по его холодеющей спине в длинные белые утра, – не может быть, чтобы смерть победила... Тени вечера, тени вечера!.. Он стоит к ним лицом, он стоит лицом и к этому смеху; в сумрачном свете лампы – их молодые лица, их губы, шепчущие детское... Он так замер, он не тронется, не обернется. Сзади него в углу большого неприветного дивана – больной, исхудалый, нищий... Неужели это он сам? Он не обернется – там темные, темные углы, и в них нет теней, или не те тени – а ночные, чуждые, и за тусклыми, сыреющими окнами – мертвая улица... Он дрогнул.

– Дай мне плед, мне что-то холодно стало, – вымолвил сзади него голос Маркова. Шура, трясясь, обернулся.

– Плед?

И вдруг все притихли. Всем сделалось холодно, и молчание чувствовали все, и никто не глядел на Маркова, а Марков сжался

и с какой-то застенчивой улыбкой не повторял просьбы... Шура потушил лампу, остался свет свечи... И тени вечера грустно ушли, и вся комната наполнилась мутными ночными тенями, и чудилось Шуре: по спине его опять ползет что-то до ужаса знакомое, судорожное, неизбежное, опять, опять... и все они не люди, а тени, лишние, запоздавшие тени...²¹

– Господа, выйдемте на улицу!..

IX

Глухая ночь. Дома окутаны ночью, и фонари унылы. Одинокие камни забылись – нет!.. слышны дерзкие шаги... или не было? Безрадостный воздух спит, и небо – над домами, над улицей, над Шурой... И опять он один на безлюдной, остывшей улице под тем вечным небом над ним, вечным и неживым... Дома молчат; огни не нужны, – зачем огни в безлюдной глуши?.. Длинная улица. Опять шаги, – или их не было?.. шаги, шаги... и ему больно, что в этой безлюдной глуши уснувшего города шаги, дерзкие на одиноких камнях... И он робко, неверно, торопливо – не идет, почти бежит по забытым человеком камням... Да, да! вечер ушел, и небо опустилось и окутало улицы, дома, окна и к нему пришло – и он глядел на него – великое, смутное... Нет! высокó, – над домами... Зачем он один здесь, на этих улицах под небом великим и вечным²²? И он помнил, что небо – вечное и что он умрет и ляжет в грудю неприязненного <?> праха, и черви и плесень будут ползти по нем, и он будет лежать и всё чувствовать – как гниют его ноги, и руки, и мозг, и он будет жить и чувствовать, как прежде чувствовал, сладость, и зной, и благоухание, что вот смрадная плесень и надменные черви будут ползти по нем и в нем и уничтожать его нежное, сладостное тело; он будет лежать на спине, по которой всю жизнь взбиралась безвыходная смерть, лицом кверху, и видеть ночь, видеть глухие улицы, и неживой воздух, и небо над домами, над камнями, вечное небо...

Глухая ночь; дома окутаны темнотой, и фонари – унылы; одинокие камни – забылись... И Шура идет неверно, торопливо, – не идет, а бежит по безлюдной улице, один, совсем один, под вечным и неживым небом...

Сонный швейцар держит в руках лампу с тусклым желтым светом, который проскальзывает в темноту то тут, то там, не разгоняет ее, прижимается к стенам и ложится на каменные ступени. Шура торопливо всходит, почти бежит, в третий этаж; он знает, что Любимов еще не спит... Надо звонить!.. Тихо, тихо, безудержно лепечет потухшая темнота и всходит, всходит – по широким ступеням – наверх... «Не ко мне, не ко мне», – почти шепчет Шура, закрывает глаза и чувствует, – тут близко, рядом, за спиной, схватило его, держит. За дверью – шепот: «Кто здесь?»

– К Диме! К Диме!

«Скорей, скорей!» – думает Шура. За спиной никого, но потухшая темнота лепечет и идет, идет по ступеням. Открыли. Сонная прислуга... передняя в пыльном полумраке – желтоватый свет; из двери – направо – коридор, и там тоже стоит – лепечет неизбежная тьма. И надо пройти ее, – в конце коридора прямо – комната Любимова. Шура, замирая, частыми шагами, стараясь не думать, ничего не думать, проходит сквозь коридор и открывает дверь.

Высокая, квадратная комната с темно-серыми обоями; молчаливое мигание зеленой лампы от резного киота ложится широкими полосами на стены. Низкий длинный шкаф с книгами, длинный диван и строгие кресла, – и рисунки на столе, в углу завешенный мольберт, и книги – на полу, и сияние на голых стенах – всё молчит, и от ночных звуков улицы хоронят темную комнату тяжелые синие ковры – на окнах, на двери... Воздух душен, и чем-то пахнет затхлым – сумрак и тишина в комнате – и не надо ни света, ни звуков... Неизбежная тьма налегла по стенам и в родных ей углах... В глубоком кресле – Любимов спал, опустив голову, его обессиленные руки лежали на коленях, и уснувшая голова была откинута назад. Он спал – и видел сны: они беззвучно ходили, безрадостные и успокаивающие. Он не был одинок, они были с ним, они наклонялись над ним, они глядели в его уснувшие глаза, припадали к груди, они приникали к голове и слушали мерный шум ее, и целовали в сухие губы.

Шура стоял и глядел на лампы, на одинаковые лики святых в зеленом мирном свете и видел, как беззвучно влеклись по стене – тихие

сны, безрадостные, несущие невозможный покой, едва касаясь стены и не шелестя, и лицо его светлело от ласковой, любовной улыбки, и он понимал, напряженно слушая их молчаливый бред, что они сродни и дороги его вечерним теням, грустно покинувшим его сегодня и ушедшим в ночь... – Спит, успокоился, – и как безрадостны сны!

– Дима!.. Дима! – Он не шепчет, он шевелит губами и, улыбаясь, едва ступая, подходит к нему, истомленный, охваченный безудержным, почти женским порывом. Только бы не проснулся, о нет!.. Сны не выдадут, – он единственный, только Кися и он. «Милый, родной!» И тихо, неслышно, как сон, но нежней и любовнее, он склонился и поцеловал Диму в сухие, горячие губы... «Милый, милый!..» Дима не шевелился, но детская, забытая улыбка вдруг пробежала по его измученному, уснувшему лицу: ему почудилось, что один из его темных и безрадостных снов наклонился к нему с братской улыбкой и коснулся его губ... И он ответил на поцелуй...

Х

В апреле... Опять бледное весеннее небо...

Часов около семи вечера, когда полусумерки неясно вспыхивают вокруг уличных фонарей и особенно раздражителен шум колес и близятся те вечера, когда и этот шум, и какие-то отдаленные звуки – и еще какие-то подпольные – все сливаются в одну песню, – на лестнице, по которой восходил Шура, лежали тени... За окном дома, небо, и там – где-то, далеко – в небе – весна. Шура позвонил и стал ждать.

Но далекая весна была ближе, чем ему казалось, и она уже была в светлеющем небе, и в певучем шуме улицы, и в напряженном молчании домов... Да! Легче, Шура понимает, что последние дни пленительны, что в эти последние дни – он улыбается той простой улыбкой, как тогда пред ним улыбались те... И сейчас будет улыбка!.. Он дрогнул, – дверь раскрылась, и он увидел улыбку, и дрогнул.

– Я одна... – Голубое платье, длинная коса и улыбка, улыбка!

– Здравствуй!

В глазах сладкий туман, и на губах – поцелуй.

– Как у нас хорошо сегодня! Гляди! Я все двери раскрыла... настезь, портьеры спустила, все свечи зажгла!.. Гляди! Мы будем сегодня бегать, смеяться – да? Побежим!

Перед ним из передней – ряд комнат; всё светло, откуда-то нежный запах, за окном... И Кися, и глаза, и руки, и голос, и вся она, вся!.. И он взял ее за руку и они побежали через весь ряд светлых комнат, смеясь, как дети, без смущенья, руку об руку, кругом всей квартиры, так, что захватывало дыхание.

– Ах, как хорошо! Как хорошо! – лепетала Кися. – Шура! дорогой! – Она целовала его в губы, она заглядывала в его смеющиеся глаза, она останавливалась, гладила ему волосы, шею, опять смеялась – откуда брался смех? – И лепетала, задыхаясь от сердца:

– Сегодня все ушли. Мама к тете, тетя завтра уезжает, и Коля, и Лида... все ушли. Я с четырех часов лежала, всю себя компрессами обложила, сказала, что – мигрень... А Степаниду услала, когда уж мама ушла, за ладанкой на Петербургскую:²³ там – знахарка... Потом к Спасителю... ах! нет!.. т. е. сперва к Спасителю,²⁴ ну да! а потом к знахарке; раньше мамы не вернется... И всё знаешь, зачем, знаешь? (И опять смеется... – Господи, как смеется!) Чтобы тебя любить!

И она своими мягкими и цепкими руками обвивала его. Шура немел.

– Вот так и держи меня! так!.. И не выпускай!

– Так?

– Да, да! Держи, – и так вечно! И никуда не уйду, и никуда не хочу уходить! И зачем? Когда меня держат такие дорогие, такие светлые руки...

И он взял ее руки и высоко поднял их на свет.

– О какой свет! Какая радость! Или ты – радость?

Она глядела на него без памяти, и любила всё в нем – и лицо, и голос, и слова...

– Ты моя? Ты моя? Ты хочешь быть моей?

– Я уже давно твоя... давно... – Ее голос стал мечтательным и глаза – печальны, чудилось – вот-вот брызнут давнишние слезы...

– Кися, ты плачешь?

– Нет! Шура мой!.. Милый, пусть будет так, как ты хочешь.

И Шура взял ее за руку и тихо повел, как робкую наложницу, за ее полог.

– Люби меня, только – люби!.. – лепетала она, опустив глаза... – Шура, навеки люби...

– В твоей комнате только темнее, одна лампада, но какой это запах... Это новый полог?

– Новый...

– Милая, я люблю тебя – навеки, одну – нераздельно; я люблю тебя и мечтаю о тебе...

– Правда? Да?

– Правда... И если когда-нибудь я коснусь другой, я буду мечтать об одной тебе... – И вдруг он затрясся судорожно, сладко, порывисто. Он всю прижал ее к себе, – ее лицо горело, его глаза сияли необычайным огнем, руки дрожали, как перед жертвоприношением; он видел, он постигал любовь, что она раскрывала ему великое, единственное благо и плакала сладкими слезами у него на груди.

– Какая радость! Господи! Какая бессмертная радость!

И он наклонился над ее постелью, на которой она лежала уже обессиленная с последним трепетом, обратив голову к лампаде, которую любила давно – в те простые дни; вечерний свет иконы говорил ей опять близкое, и грусть, и бессилие были светлы, и было легко, и во что-то верилось... Шура стоял над ней, и она, глядя на лампаду, видела, как он кротко гладит ее руки, как он бережливо целует ее в грудь и ни слова не говорит, и ей не стыдно, ей всё верится чему-то, и она всё с той же грустью глядит на милое сиянье... И вот нежнее и глубже видит она, видит – реющий ангел, какой он, откуда, где она видела его? – склонился над ней и широко осенил ее. Но Шура не видел ангела, он видел одну Кисю, милую, нежную, он любил ее в этом мягком белье, с этой полоской кружев на невысокой груди, и белокурые волосы – по подушке, и утомленные глаза; она была пред ним вся, дорогая, вся сладостная, и он проводил рукой по ее рукам и с грустью глядел – и хотелось любить и улыбаться, только любить и улыбаться.

– Кися!

– Что, милый?

– Мы одни с тобой, одни, как всегда... и ты вся – такая дорогая, такая кроткая... я так люблю, и я ничего не вижу и ничего не люблю, кроме тебя... Какие у тебя руки!..

– Милый, возьми всё, всё: я ничего не могу дать, кроме себя, всё, что могу дать, возьми; возьми, дорогой, возьми, радостный... Я твоя, я не хочу быть своей, я хочу забыть о себе и всё забыть. – И она

подняла руки – высоко – на свет – и руки трепетали. Он склонялся всё ближе к ней, его глаза светлели, и душа возносилась высоко.

– Я видела ангела... он смотрел на меня...

– И тебе было страшно?

– Шура! Люби же меня, люби!.. Мне не было страшно, милый!

И, улыбаясь и радуясь, как никогда не радовался, он целовал ее ноги, которые он взял без раскаяния, без муки, без греха. Она целовала его руки и припадала к губам и к груди, и большая радость и высокое самозабвение были в этом безропотном полусне, в этой грешной неге чистейшей любви. И Шура потерял сознание, и Кися сквозь закрытые ресницы видела – в тихом сиянии – ангел опять поднял руку и с детской улыбкой и в слезах благословил их, – и Кися причастилась его святых тайн. Она сомкнула глаза, а Ангел всё еще стоял, его не было видно, но слышался голос: он говорил о том, что перестало быть стыдно теперь – в первый раз, что было милее маминых поцелуев и всего, всего, что любила она... И чудилось – Ангел перестал плакать и, широко раскрыв глаза и подняв светлые руки, улыбался блаженно и кому-то молился, и вот улыбка блаженнее, краше, вот молитва и глубже, и умильтельнее... И Кися заплакала, сладко, порывно, как не плакала никогда, и вся она, вся – чувствовала, что эти слезы единственные, светлые, светлее всего, всего на свете... И она шептала Шуру эти простые слова.

Ноябрь 1896 г<од>.

¹ Далее несколько фраз перечеркнуты.

² О чем я думаю (*нем.*)

³ Имеется в виду детская русская народная песня-потешка: «На улице // Две курицы // С петухом дерутся. // Две девицы-красавицы // Смотрят и смеются: // – Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Как нам жалко петуха!»

⁴ Фраза восходит к изречению Гете: «Всё преходящее есть только символ». Под «дамой» подразумевается, возможно, З. Н. Гиппиус, троюродная сестра Вл. Гиппиуса. Однако над смыслом и значением этой известной формулы в 1890-е в своих трудах больше размышлял и писал ее муж, Д. С. Мережковский (ср., в частности, его сборник «Символы», 1892).

⁵ Ср. первоначальное заглавие повести: «Ленивое горе».

⁶ То есть обтянутый шерстяным бархатом.

⁷ Цитируется романс «Нет, не любил он» (муз. А. Гуэрча, рус. текст М. Медведа).

⁸ «Я помню – глубоко...» – романс на стихи Д. Давыдова (муз. А. С. Даргомыжского).

⁹ Шуман Роберт (1810–1856) – немецкий композитор эпохи романтизма.

¹⁰ Полонский Яков Петрович (1819–1898) – русский поэт и прозаик.

¹¹ Кисти испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо (1617–1682) принадлежит немало полотен с изображением Пречистой Девы: «Непорочное зачатие» (1645–1650 и ок. 1680), «Богоматерь во славе» (1678) и др.

¹² Имеется в виду христианская святая великомученица Варвара Илиопольская (273–306). Была казнена язычниками за свою веру. День памяти 4 (17) декабря.

¹³ Речь идет о Беатриче Портинари (1266/1267–1290), в которую платонически был влюблен итальянский поэт Данте Алигьери. Она фигурирует в качестве героини в главных его произведениях: «Новой жизни» и «Божественной комедии».

¹⁴ Ср. в стихотворении А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828): «Мы рождены для вдохновенья, // Для звуков сладких и молитв».

¹⁵ Цитируется стихотворение А. А. Фета «Фантазия» (1847).

¹⁶ Источник текста установить не удалось.

¹⁷ Данный текст связан с предыдущим стихотворным фрагментом. Источник текста установить не удалось.

¹⁸ Подразумевается злой дух Мефистофель, один из главных героев трагедии (философской драмы) Гете «Фауст».

¹⁹ Греческое выражение – одно из трех, написанных на фронтоне храма Аполлона в Дельфах, где находилось самое известное место пророчеств. Автор неизвестен, приписывали и Хилону, и Биасу, и Клеобулу (они из «семи мудрецов»), и Гераклиту и др. Сократ уже только повторяет известный афоризм (примеч. А. В. Успенской).

²⁰ Ср. в стих. Фета «Над озером лебедь в тростник протянул...» (<1854>): «Легли вечерние тени...».

²¹ Ср. с образами мистических теней в стихотворениях Вл. Соловьева: «В сне земном мы тени, тени... // Жизнь – игра теней, // Ряд далеких отражений // Вечно светлых дней» («В сне земном мы тени, тени...», 1875); «Милый друг, иль ты не видишь, // Что всё видимое нами – // Только отблеск, только тени // от незримого очами?» («Милый друг, иль ты не видишь...», 1892)

²² Возможно отзвук эпизода ранения Болконского под Аустерлицем в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; ср.: «Над ним не было ничего уже, кроме неба – высокого неба... <...> И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба» (*Толстой Л. Н. Собр. соч.* В 20 т. Т. 4. М., 1961. С. 380).

²³ Ладанка – маленький мешочек, в котором находится ладан (благонная древесная смола). Его обычно носят на шее рядом с нательным крестиком. Петербургская (с 1914 – Петроградская) сторона – одна из исторических частей С.-Петербурга; расположена в границах Петроградского района.

²⁴ Т. е. к одной из святынь Петербурга – иконе Спаса Нерукотворного Образа, хранившейся в домике Петра I на Петроградской стороне, недалеко от Троицкой пл.